

ОЛДОС ХАКСЛИ

ГЕНИЙ И БОГИНЯ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Х16

Серия «Эксклюзивная классика»

Aldous Huxley

THE GENIUS AND THE GODDESS

Перевод с английского *В. Бабкова*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Кирсановой*

Печатается с разрешения

Aldous and Laura Huxley Literary Trust, наследников автора
и литературных агентств Georges Borchardt, Inc.
и Andrew Nurnberg.

Хаксли, Олдос.

X16 Гений и богиня : [роман] / Олдос Хаксли ;
[пер. с англ. В. Бабкова]. — Москва : Изда-
тельство АСТ, 2017. — 160 с. — (Эксклюзивная клас-
сика).

ISBN 978-5-17-098302-5

Любовный треугольник... Кажется, довольно ба-
нальная история. Но это не тот случай. Сюжет романа
действительно довольно прост: у знаменитого ученого
есть божественной красоты жена. И молодой талантливый
ученик. Конечно же, между учеником и «богиней»
вспыхивает страсть. Ни к чему хорошему это привести
не может. Чего же еще ждать от любовного треуголь-
ника? Но Олдос Хаксли сумел наполнить эту историю
глубиной, затронуть важнейшие вопросы о роке и лич-
ном выборе, о противостоянии эмоций разумному на-
чалу, о долге, чести и любви.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Aldous Huxley, 1955
© Перевод. В. Бабков, 2016

ISBN 978-5-17-098302-5 © Издание на русском языке AST Publishers, 2016

— **В**ся беда литературы в том, — сказал Джон Риверс, — что в ней слишком много смысла. В реальной жизни никакого смысла нет.

— Так-таки нет? — спросил я.

— Разве что с точки зрения Бога, — поправился он. — А с нашей — никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем ни другим. По сути дела, жизнь — это цепочка дурацких событий, а каждое дурацкое событие — это одновременно Тэрбер и Микеланджело, одновременно Мики Спиллейн и Фома Кемпийский. Характерная черта реальности — присущее ей несоответствие. — И когда я спросил: «Чему?» — он махнул широкой коричневой дланью в сторону книжных полок. — Лучшим образцам Мысли и Слова, — с шутливой торжественностью провозгласил он. И продолжал: — Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются

ся как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды. — Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых». — Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы. О литературе по физике и химии. Об исторической литературе. О философской... — Его обвиняющий перст перемещался от Дирака к Тойнби, от Сорокина к Карнапу. — Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре.

Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне.

— «Жизнь Генри Маартенса», — прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее, для него это не просто знаменитость. — Ты же был его учеником, верно?

Риверс молча кивнул.

— И это официальная биография?

— Официальная литературная версия, — уточнил он. — Незабвенный портрет ученого из многосерийной телетягомотины, знакомый тип:

слабоумный ребенок с гигантским интеллектом; страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями; одинокий мыслитель и в то же время нежнейший семьянин; рассеянный душка-профессор, вечно витающий в облаках, но, в общем, ужасно славный. По-настоящему же, как это ни печально, дело обстояло отнюдь не так просто.

— Ты хочешь сказать, что книга неточна?

— Да нет, все, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же все вздор — это не имеет отношения к действительности. И возможно, — добавил он, — возможно, так и следует писать. Возможно, истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы ее запечатлеть, слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы ее не олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь узнать правду: оскорбительно, когда тебя дурят этакой слащавой картинкой.

— И ты собираешься описать все по-настоящему? — предположил я.

— Для широкой публики? Упаси боже!

— Хотя бы для меня. В частной беседе.

— В частной беседе, — повторил он. — Собственно, почему бы и нет? — Он пожал плечами и улыбнулся. — Отчего бы и не устроить

маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов.

— Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане.

— А это и есть дурман, — ответил он. — В воспоминания уходят с головой, как в джин или амиталат натрия.

— Ты забываешь, — сказал я, — что я писатель, а Музы — дочери Памяти.

— А Бог, — живо добавил он, — братом им не приходится. Бог ведь не сын Памяти; Он дитя Непосредственного Восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем «теперь». Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература. Но мудрости не будет и помину. Обретенное Время есть Утраченный Рай, а Утраченное Время — Рай Обретенный. Что было, то прошло. Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен.

Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, словно у египтянки, волос, — а еще огромные золотые колонны Баальбека и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. О ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен.

Как раз в Баальбеке я сделал ей предложение и получил отказ.

— А если б она выбрала меня, — промолвил я, — мне тоже пришлось бы этому выучиться?

— Элен имела обыкновение делать, а не читать проповеди, — ответил Риверс. — У нее трудно было не научиться.

— А как же насчет моего писательства, как насчет тех самых дочерей Памяти?

— Можно отыскать способ с толком использовать оба подхода.

— Компромисс?

— Синтез, третью позицию, объединяющую две других. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Элен умудрялась брать от жизни все даже на пороге смерти.

Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли, и вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос появились седые локоны, вместо девичьего лица я увидел тонкие увядшие черты пожилой женщины. Наверное, сообразил я, она заболела уже тогда.

— Я был в Афинах, когда она умерла, — вслух произнес я.

— Помню. — И он продолжал: — Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради нее — ты был ей очень по душе. Разумеется, и ради *тебя* тоже. Умирание — это искусство, и нам в наши годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Элен постигла искусство умирать, ибо постигла искусство жить — жить теперь и здесь, к вящей славе божьей. А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого, маленького «я». Живя, как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим, — заметил Риверс немного погодя, — нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков. Нынче тебя воскрешают, так что можешь жить дальше и лелеять свой атеросклероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А впрочем, сегодня ведь канун Рождества, так что исто-

рия о привидениях как раз кстати. И потом, ты мой старый приятель, и, даже если ты состряпаешь из этого повестушку, что тут особенного?

Его крупное морщинистое лицо осветилось ласковой иронией.

— Если тебе это неприятно — не буду, — заверил я.

На сей раз он рассмеялся открыто.

— «И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома», — процитировал он. — Скорее я доверю своих дочек Казанове, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятвы литераторов сгорают еще легче, чем супружеские или монашеские.

Я попытался было возразить, но он не стал слушать.

— Пожелай я сохранить это в тайне, — произнес он, — я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты все-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание. Мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими — чистое совпадение. Чистейшее! А теперь вернемся к Маартенсам. Где-то у меня был портрет. — Он тяжело поднялся с кресла, добрал до стола и выдвинул

ящик. — Все мы вместе: Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса, — заметил он, поворошив бумаги в ящике, — нашелся именно там, где следует.

Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых: маленький, сухощавый человек, седовласый и крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними — смеющаяся блондинка, широкоплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд — длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей: мальчуган лет девяти-десяти и его старшая сестра с косичками, лет тринадцати.

— Какой он пожилой на вид! — было моим первым замечанием. — Годится своим детям в дедушки.

— И при этом в пятьдесят шесть все еще такой неумеха, что Кэти нянчилась с ним, как с младенцем.

— Довольно сложная кровосмесительная комбинация.

— Но так все и было, — заверил Риверс. — У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет. И она охотно дарила ему эту возможность — она была воплощенным материнством.

Я снова взглянул на фотографию.

— Какая очаровательная смесь стилей! Мартенс — чистая готика. Его жена — вагнеровская героиня. Дети — прямо из сочинений миссис Моулзворт. А ты — ты... — Я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок. — Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия Праксителя.

— Разве я не дотягиваю до оригинала? — огорчился он.

Я покачал головой.

— Взгляни на нос, — сказал я. — Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины; это Геркуланум. Но к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей ты был парень что надо, настоящий греческий бог.

Риверс состроил кислую мину.

— С виду я, может, и годился на эту роль, — произнес он. — Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее... — Он покачал головой. — У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомни, в ту пору я являл собою плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с двенадцати лет — единственное утешение овдовевшей матушки. Да-да, единственное, несмотря на то что она считала

себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье места; Бог очутился в аутсайдерах. И разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорошего пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмена.

— Но разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом? — Я показал на фотографию атлета в кудряшках.

Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом:

— А *твоя* матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей суженой, — это его девственность?

— К счастью, нет.

— Так-то; а моя говорила. Причем опустившись на колени, в процессе внеочередной молитвы. Внеочередные молитвы — это был ее конек, — в скобках заметил он. — Тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила

речь, еще натуральнее звучал нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к Евреям. Как языковой феномен это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью. Особенно когда это касалось Великого Тайнства. Хочешь — верь, хочешь — нет, но в двадцать восемь лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарок.

Воцарилось молчание.

— Бедняга Джон, — наконец произнес я.

Он покачал головой.

— Вернее сказать — бедная моя матушка. У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении сорока лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы не милость божья, Джон Риверс проделал бы этот путь паинь-

кой. Но милость божья была недалече — она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Маартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях, получил обо мне хороший отзыв от моего профессора, может предложить лишь смехотворно малое жалованье — но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива. Но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И, вечная ему за это хвала, Бог разрешил отпустить меня.

Минули десять дней, и я вышел из такси у порога дома Маартенсов. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаюсь собрать все свое мужество и позвонить. Точно напроказивший школьник, которого вызвал сам директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Маартенса, чтобы раскусить такого, как я? Неделя? День?

Да не больше часу! Он станет презирать меня; я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше. А может, и хуже. Маартенсы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно. Какая необычайная любезность! И вместе с тем какая дьявольская жестокость! В строгой и изысканной атмосфере этого дома я не премину обнаружить свою истинную суть — я, робкий и ограниченный, безнадежный провинциал. Однако директор ожидал меня. Я стиснул зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах. Знаешь, из тех, которые родились еще до отмены рабства, да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и, хотя Бьюла частенько переигрывала, ее мало было назвать сокровищем; вскоре я обнаружил, что она движется напрямик к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же приняла меня как давно пропавшего члена семьи, этакого блудного сына, только что от корыта с рожками. «Сейчас я приготовлю вам сэндвич и добрую чашку кофе, — твердо сказала она и добавила: — У нас